

**СТИВЕН
МИЛХАУЗЕР**

МЕТАТЕЛЬ НОЖЕЙ



Стивен Миллхаузер

Метатель ножей

1998

Миллхаузер С.

Метатель ножей / С. Миллхаузер — 1998

Американский писатель Стивен Миллхаузер родился в 1943 году. Его первый роман «Джеффри Картрайт. Эдвин Маллхаус: жизнь и смерть американского писателя, 1943-1954», опубликованный в 1972 году, был удостоен французской премии за лучшее иностранное произведение и мгновенно принес автору известность. С 1972 года Миллхаузер выпустил еще три романа, последний из которых, «Мартин Дресслер: Сказка об американском мечтателе», в 1997 году получил Пулитцеровскую премию.

Содержание

МЕТАТЕЛЬ НОЖЕЙ	5
СВИДЕЛИСЬ	12
СЕСТРЫ НОЧИ	19
ВЫХОД	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Стивен Миллхаузер

Метатель ножей

Стиву Стерну

МЕТАТЕЛЬ НОЖЕЙ

Узнав, что Хенш, метатель ножей, субботним вечером в восемь часов собирается дать у нас в городе единственное представление, мы не знали, что и подумать. Хенш, метатель ножей! Что нам делать – хлопать от радости в ладоши, вскакивать на ноги, расплываться в мечтательных улыбках? Или все-таки поджать губы, отвернувшись неодобрительно и сурово? Уж таков Хенш. Ибо о Хенше, признанном мастере своего искусства – трудного и слегка отталкивающего искусства, о котором мы так мало знали, – бесспорно, ходили некие тревожные слухи, и мы упрекали себя за то, что не уделяем им должного внимания, находя их в воскресной газете под рубрикой «Искусство».

Хенш, метатель ножей! Разумеется, мы знали это имя. Это имя все знали, как все знают имена знаменитых шахматистов или фокусников. Вот только непонятно было, что же он все-таки вытворял. Мы смутно припоминали, что его ловкость рано привлекла к нему внимание, но всерьез его стали воспринимать, лишь когда он полностью перекроил все правила. Он бесстрашно – безрассудно, сказали бы некоторые, – пересек ту черту, за которую не заходил ни один метатель ножей, и добился славы, занимаясь бесславным делом. Некоторые из нас, кажется, читали, что в далекие дни ярмарочных представлений он тяжело ранил ассистентку, а затем после полугодового перерыва вернулся с новым трюком. Тогда-то он и ввел в непорочную дисциплину метания ножей идею искусного ранения, кровавой метки – клейма мастера. Мы даже слышали, что многие его приверженцы, особенно девушки, с восторгом принимали от мастера рану и гордились шрамом.

Подобные слухи беспокоили нас, не позволяли бесхитростно радоваться прибытию Хенша, но мы все же сознавали, что без этой сомнительной приманки вряд ли вообще пришли бы на его выступление. Ибо искусство метания ножей, такое, казалось бы, опасное, в действительности укрощено, оно отжило свое – и в наше время немногим интереснее эксцентричных старомодных забав. Метателей ножей мы видели разве что в цирке или в ярмарочных паноптикумах, рядом с женщиной-слоном и человеком-скелетом. Должно быть, размышляли мы, Хенш злился, ощущая себя уродом среди уродов; должно быть, искал выхода. Он же своего рода артист, разве нет? И мы восхищались его отвагой, хоть и сожалели о его методах и презирали его как вульгарного балаганщика; мы не доверяли слухам, вспоминали, что мы о нем знаем, непрестанно копались в себе. Некоторым он снился: человек-мартышка в черно-белых клетчатых штанах и красной шляпе, суровый офицер в блестящих сапогах. В рекламных проспектах была изображена лишь рука в перчатке, сжимающая нож. Неудивительно, что мы не знали, что и думать.

Ровно в восемь Хенш вышел на сцену: проворный неулыбчивый человек в черном фраке. Его появление нас удивило. Большинство из нас сидели в зале с половины восьмого, но некоторые только приехали и еще шли по проходам, проталкивались мимо повернутых вбок колен к скрипящим креслам. Вообще-то мы привыкли к задержкам, чтобы успели опоздавшие, и потому начало восьмичасового представления всеми ожидалось в 8.10 или даже в 8.15. Когда Хенш вышел на сцену – деловитый серьезный человек с черными волосами вокруг плечи, – мы не знали, восхищаться его бесконечным равнодушием к производимому нами шуму, или невзлюбить его за отказ хоть чуточку задержаться. Он быстро прошел к столику высотой ему по

пояс – там стояла шкатулка красного дерева. Перчаток на Хенше не было. Дальний угол сцены отделяла черная деревянная перегородка. Хенш встал перед шкатулкой и поднял крышку, явив нам сверкающие ножи. В этот момент напротив перегородки появилась женщина в свободном белом платье.

Светлые волосы туго забраны сзади, а в руках – серебряная чаша.

Опоздавшие шепотом пробирались мимо колен и пиджаков и виновато опускались на свои места. Женщина повернулась к нам и сунула в чашу руку. Она достала оттуда белое кольцо размером с обеденную тарелку. Подняла его, повертела, будто показывая нам, а Хенш вынул из шкатулки полдюжины ножей. Затем встал у столика, держа их в левой руке веером лезвиями вверх – ножи около фута длиной, с удлинненными четырехгранными лезвиями. Хенш стоял на сцене сбоку – лицо без выражения, как у человека, которому нечем заняться, – и казался рассеянным и слегка скучающим, словно мальчишка-переросток, что с неуклюжим подарком в руках терпеливо ожидает, пока ему откроют дверь.

Женщина в белом платье слегка подбросила кольцо перед черной перегородкой. Внезапно нож вонзился глубоко в мягкое дерево, и пойманное кольцо закачалось на рукоятке. Не успели мы понять, нужно ли аплодировать, женщина подбросила второе кольцо. Одним мгновенным ловким движением Хенш метнул второй нож, и кольцо повисло на рукоятке. Третье кольцо взлетело и вдруг закачалось на ноже, а затем женщина достала из чаши и показала нам кольцо поменьше, размером с блюдце. Хенш поднял нож и аккуратно пришил взлетевшее кольцо к дереву. Потом женщина одно за другим подбросила еще два маленьких кольца, и Хенш поймал их двумя молниеносными движениями: первое – в начале полета, второе – посередине перегородки.

Мы смотрели, как Хенш достает еще три ножа и берет их веером в левую руку. Он стоял, глядя на ассистентку яростно и внимательно: спина прямая, толстая рука вытянута вдоль тела. Женщина подбросила три маленьких кольца, и мы увидели, как напряглось его тело, мы ждали тук-тук-тыка ножей в дерево, но Хенш не двинулся – только глядел сурово и пристально. Кольца ударились об пол с легким стуком и большими монетами раскатились по сцене. Неужели не понравился бросок?

Нам хотелось отвернуться, притвориться, будто не заметили. Ассистентка торопливо собрала кольца, потом заняла свое место возле черной стены. Кажется, глубоко вздохнула, прежде чем снова подбросить кольца. На этот раз Хенш с ошеломительной скоростью швырнул три ножа, и внезапно мы увидели, как все три кольца раскачиваются на перегородке, последнее – буквально в нескольких дюймах от пола. Женщина величественным жестом указала на Хенша, тот не поклонился; мы разразились бешеными аплодисментами.

И снова женщина в белом платье опустила руку в чашу. На этот раз она достала что-то двумя пальцами – даже те, кто сидел в первых рядах, не сразу разглядели, что это. Она выступила вперед, и многие различили у нее в руке оранжево-черную бабочку. Женщина вернулась к перегородке и взглянула на Хенша – тот уже выбрал нож. Слегка подбросив, она выпустила бабочку из пальцев. Мы зааплодировали, когда нож пришил насекомое к дереву, а с первых рядов было видно, как беспомощно бьются крылья.

Такого мы никогда не видели, да и не надеялись увидеть. Это стоит запомнить; аплодируя, мы вспоминали метателей ножей из нашего детства, запах опилок и сахарной ваты, сверкающую женщину на вертящемся колесе.

Теперь ассистентка выдернула ножи из черной перегородки и отнесла их через сцену к Хеншу.

Тот внимательно оглядел и вытер тряпичкой каждый, а затем сложил все обратно в шкатулку.

Неожиданно Хенш прошагал на середину сцены и повернулся к нам лицом. Помощница поставила столик со шкатулкой сбоку от него. Ушла со сцены, вернулась, толкая перед собой

второй стол, и поставила его с другой стороны. Отступила в полутьму, а прожекторы осветили Хенша и столы. Мы увидели, как он положил левую руку на пустую столешницу ладонью вверх.

Правой рукой достал нож из шкатулки на первом столе. Внезапно не глядя подбросил нож точно вверх. Мы видели, как нож взлетел до высшей точки и ринулся вниз. Кто-то вскрикнул, когда нож впился Хеншу в руку, но тот поднял ладонь со стола и показал нам, повертев туда-сюда: нож вонзился между пальцами. Хенш опустил руку на нож, сжав лезвие указательным и средним пальцами. Подбросил еще три ножа, и один за другим – тэт-тэк-тэк – впились они в стол.

Женщина в белом выступила из тени, наклонила стол к нам, и мы увидели, что четыре ножа вонзились между пальцами.

О, мы восторгались Хеншем, захваченные великолепной отвагой этого человека; и все же, аплодисментами отбивая себе ладони, мы ощущали какую-то тревогу, какую-то неудовлетворенность, словно Хенш так и не выполнил некое невысказанное обещание. Быть может, зря мы стыдились того, что пошли на представление, зря сокрушались заранее об отвратительной его эксцентричности, о подозрительном выходе за рамки?

Будто почуяв наше тайное нетерпение, Хенш решительно прошагал в свой угол сцены.

Светловолосая ассистентка быстро последовала за ним, толкая перед собой стол. Затем отодвинула второй столик в глубину сцены и вернулась к черной перегородке. Там она встала, прижавшись к дереву спиной, пристально глядя на Хенша. Ее свободное белое платье держалось на тонких бретельках, соскользнувших с плеч. Тут по нашим рукам и спинам впервые пробежал слабый трепет тревожного возбуждения, ибо вот они стояли пред нами – темный хозяин и бледная дева, словно фигуры во сне, который мы пытаемся с себя стряхнуть.

Хенш выбрал нож и неторопливо поднял его над головой; мы осознали, что раньше он работал очень быстро. Стремительным резким движением, словно рубя дерево, он метнул нож. Сначала мы решили, что он попал ей в руку, но затем увидели, что лезвие погрузилось в дерево вплотную к ее коже. Второй нож вонзился у другого предплечья. Она повела плечами, будто освобождаясь от щекочущих ножей, и лишь когда ее свободное платье упало волной, мы поняли, что ножи перерезали бретельки. Хенш нас покорила, он покорила нас. Длинноногая и улыбающаяся, ассистентка выступила из упавшего платья и теперь стояла на фоне черной перегородки в блестящем серебряном трико. Мы думали о канатоходцах, наездниках без седла, душных шапито в синие летние дни. Соломенные волосы, блестящая ткань, бледная кожа, тут и там тронутая тенью, – женщина казалась далеким, замкнутым в себе произведением искусства, и в то же время на ней лежал отпечаток какой-то холодной чувственности, ибо металлический блеск ее костюма словно подчеркивал наготу кожи, волнуяще открытой, угрожающе белой, и прохладной, и мягкой.

Сверкающая ассистентка быстро прошла ко второму столу в глубине сцены и взяла что-то из выдвижного ящика. Вернулась на середину и поставила на голову яблоко – такое красное и сияющее, словно выкрашенное лаком для ногтей. Мы смотрели на Хенша, а тот, очень неподвижный, смотрел на нее. Одним движением Хенш поднял и метнул нож. Ассистентка вышла из-под красного яблока, припиленного к дереву.

Она достала второе яблоко и сжала черенок зубами. У черной перегородки она медленно откинулась назад, и ярко-красное яблоко оказалось над ее запрокинутыми губами. Мы различали столбик ее трахеи, прочертивший кожу горла, и округлость бедер, что напряглись под серебряными блестками. Хенш тщательно прицелился, и нож пронзил сердцевину яблока.

Потом ассистентка взяла со стола пару длинных белых перчаток и медленно, с усилием натянула, ввинчивая в них запястья. По очереди подняла каждую туго обтянутую руку и пошевелила пальцами. Встала у перегородки, раскинув руки и расставив пальцы. Хенш взглянул на нее, поднял нож и метнул; нож вонзился в кончик пальца – среднего пальца правой руки, пригвоздив его к черной стене. Женщина смотрела прямо перед собой. Хенш выбрал горсть ножей

и взял их веером в левую руку. Стремительно метнул девять ножей – один за другим, – и они вонзались в кончики ее пальцев – один за другим, снизу вверх, справа-слева, справа-слева, – а мы неловко ерзали в своих креслах. Во внезапной тишине женщина стояла, раскинув руки, истыканные ножами, в сверкании серебряных блесков, в белых перчатках блее бледных рук, глядя так, будто вот-вот уронит голову: мученицей на кресте, с надеждой глядя на весь мир. Потом медленно, осторожно вытащила руки из перчаток, и перчатки повисли на перегородке.

Тут Хенш резким движением пальцев точно отмел все, что сейчас происходило, и к нашему удивлению, женщина шагнула на край сцены и впервые обратилась к нам.

– Должна попросить вас, – тихо произнесла она, – соблюдать абсолютную тишину, поскольку следующий номер очень опасен. Мастер оставит на мне метку. Прошу вас, ни звука. Благодарим вас.

Она вернулась к черной перегородке и просто встала – плечи откинута, руки опущены, но прижаты к дереву. Она неотрывно смотрела на Хенша, а тот словно изучал ее; кто-то потом говорил, что в этот момент она походила на ребенка, которого вот-вот ударят по лицу, но другие утверждали, что она была спокойна, вполне спокойна.

Хенш выбрал нож из ящика, секунду подержал его на весу, потом поднял руку и метнул. Нож воткнулся возле ее шеи. Он промахнулся – промахнулся? – и нас резко стиснуло разочарованием, моментально обратившимся в стыд, глубокий стыд, ибо пришли мы не за кровью, лишь за – ну, за чем-то другим; и спрашивая себя, за чем же пришли, мы удивленно наблюдали, как она одной рукой вытаскивает нож. А потом увидели у нее на шее тонкую красную струйку, сбегавшую на плечо; и поняли, что вся белизна ее готовила нас к этому моменту. Мы аплодировали долго и громко, а она поклонилась и высоко воздела сверкающий нож, тем самым заверяя нас, что ранена, но все благополучно – или же благополучно ранена; и мы не знали, аплодируем мы ее благополучию, ранению, или же прикосновению мастера, что перешел черту и провел нас – в безопасности, как выяснилось, – в царство запретного.

Мы еще аплодировали, а она повернулась и покинула сцену, через несколько секунд вернувшись в длинном черном платье с длинными рукавами и высоким воротником, скрывшим рану. Мы представили себе белый бинт под черным воротником; другие бинты, другие раны – на ее бедрах, на сосках, на талии. Черные на черном, они стояли, она и он, словно связанные темным союзом, точно она – его сестра-близнец, или они оба – из одной команды в той игре, которой мы уже не понимали, но в которую все мы продолжали играть; она даже казалась старше в черном платье, строже – школьная учительница или незамужняя тетушка. Мы не удивились, когда она выступила вперед и вновь обратилась к нам.

– Если кто-то из вас, присутствующих здесь, желает быть отмеченным, желает получить метку мастера, то момент настал. Есть кто-нибудь?

Мы огляделись. Одинокая рука неуверенно поднялась и тут же опустилась. Поднялась другая; потом еще – молодые тела вытянулись вперед, напряглись; а женщина в черном спустилась со сцены и медленно пошла по проходу, внимательно вглядываясь, раздумывая, а потом остановилась и указала: «Ты». И мы знали ее – Сюзан Паркер, студентка, в дочери нам годится, вопросительно повернула лицо к женщине, чуть приподняла брови, когда та указала на нее; затем слабая вспышка осознания; и когда она поднималась по ступенькам на сцену, мы смотрели пристально, спрашивая себя, что увидела в ней темная женщина, отчего избрала ее; и еще спрашивая себя, о чем она думает, эта Сюзан Паркер, шагая за темной женщиной к деревянной перегородке. На ней были свободные джинсы и узкий черный свитер с короткими рукавами; коротко стриженные рыжеватые, слабо блестящие волосы. За белую кожу? за какое-то хладнокровие избрана она? Нам хотелось крикнуть: сядь! не стоит тебе этого делать! – но мы уважительно молчали. Хенш стоял у стола, смотрел без выражения. До нас дошло, что сейчас

мы ему доверяем; мы вцепились в него; он – все, что у нас есть; ибо если мы не уверены в нем полностью, то кто мы есть, кто мы есть, черт возьми, если допускаем такое?

Женщина в черном провела и поставила Сюзан Паркер у деревянной перегородки: спиной к дереву, плечи прямые. Мы видели, как женщина мягко, будто бы нежно провела рукой по коротким волосам девушки – волосы встопорщились и улеглись снова. Потом взяла Сюзан Паркер за правую руку и отступила направо, так что рука вытянулась по перегородке. Ассистентка стояла, держа поднятую руку Сюзан Паркер, пристально глядя ей в глаза, – точно успокаивала; и мы заметили, что рука Сюзан Паркер очень бела между черным свитером и черным платьем на фоне черного дерева. Женщины смотрели друг на друга, а Хенш поднял нож и метнул. Мы услышали приглушенный стук лезвия, резкий вздох Сюзан Паркер, увидели, как другая ее рука сжалась в кулак. Темная женщина быстро встала перед нею и вынула нож; повернувшись к нам, подняла руку Сюзан Паркер и показала красную струйку на бледном предплечье. Потом из кармана черного платья достала маленькую жестяную коробочку. Из коробочки вынула ватный тампон, кусок марли и моток биндажа и поспешно забинтовала рану. «Ну, все, милая, – услышали мы, – ты была очень храброй». Мы смотрели, как Сюзан Паркер идет по сцене, опустив глаза, держа забинтованную руку слегка на отлете, чтобы не касаться ею тела; и когда мы начали хлопать, потому что она все еще была там, потому что она прошла через это, мы увидели, как она вскинула взгляд, быстро и застенчиво улыбнулась, а потом опустила ресницы и сошла в зал.

Теперь поднялись руки, заскрипели сиденья, мы ужасно зашуршали и зашептались, ибо и другие желали быть избранными, желали получить метку мастера, и снова женщина в черном выступила вперед и заговорила:

– Спасибо, милая. Ты была очень храброй, и теперь на тебе метка мастера. Ты сохранишь ее до конца своих дней. Но это легкая метка, знаете ли, очень легкая. Мастер может пометить глубже, гораздо глубже. А для этого надо доказать, что ты достоин. Возможно, некоторые из вас уже достойны, но сейчас я прошу вас опустить руки, будьте любезны, потому что у меня есть тот, кто готов получить метку. И прошу вас всех сохранять тишину.

Из-за кулис справа вышел юноша лет пятнадцати или шестнадцати. Он был в черных брюках, черной рубашке и в очках без оправы, отражавших свет. Он шел легко, и мы отметили в нем какую-то долговязую и чуть неловкую красоту – красоту, подумали мы, водяной птицы, цапли.

Женщина подвела его к деревянной перегородке и жестом показала, что следует встать спиной к дереву. Прошла к столу в глубине сцены, что-то взяла и отнесла к перегородке. Подняв левую руку мальчика и вытянув ее по дереву на уровне плеча, женщина подняла это что-то к его запястью и начала прикреплять к дереву. Оказалось, это скоба. Потом женщина расправила ему руку: ладонью к нам, пальцы вытянуты. Отступив, задумчиво глянула. Подошла с другой стороны и нежно взяла мальчика за руку.

Огни на сцене потускнели, потом красный прожектор осветил Хенша и шкатулку с ножами.

Другой прожектор, лунно-белый, высветил вытянутую руку мальчика. С другой его бок оставался в тени.

Представление словно дразнило нас обещанием опасности, тревожного поворота, недопустимого и даже невообразимого, однако мы напоминали себе, что до сих пор мастер всего лишь слегка царапал кожу, что это, в конце концов, публичный номер, и он с ним прекрасно разъезжает повсюду, что мальчик, похоже, спокоен; нам не нравился преувеличенный световой эффект, вся эта грубая мелодрама, но мы втайне восхищались тем мастерством, с каким представление играло на наших страхах. Чего именно мы боялись, мы не знали, не могли сказать.

Но вот – метатель ножей, умытый кровавым светом, вот – бледная жертва, прикованная к стене; во тьме – таинственная женщина; и ослепительный свет, тишина, сам ритм всего вечера обещают, что мы сейчас вступим во мрак сновидений.

И Хенш взял нож и метнул; некоторые услышали резкий вздох мальчика, другие – тонкий вскрик. В белизне света мы увидели нож в центре его окровавленной ладони. Кто-то рассказывал, что в тот момент, когда вонзился нож, потрясенное лицо мальчика вспыхнуло напряженным, почти болезненным восторгом. Белый прожектор внезапно осветил женщину в черном, она подняла свободную руку мальчика, словно провозглашая триумф; затем торопливо выдернула лезвие, кусками марли обернула мальчику ладонь, вытерла его взмокшее от пота лицо салфеткой и увела со сцены, одной рукой крепко обняв за талию. Никто не издал ни звука. Мы смотрели на Хенша, а тот взглядом следил за ассистенткой.

Вернувшись одна, она выступила вперед и обратилась к нам, а огни рампы загорелись вновь.

– Ты храбрый мальчик, Томас. Ты не скоро забудешь этот день. А теперь я должна сказать, что сегодня вечером у нас остается время только на один номер. Я знаю, многие из вас хотели бы получить метку на ладонь, как Томас. Но теперь я спрашиваю о другом. Есть ли среди присутствующих кто-нибудь, кто хочет... – Тут она остановилась – но не колеблясь, а словно для того, чтобы подчеркнуть. – ...принести полную жертву? Это окончательная метка, метка, которую можно получить лишь однажды. Пожалуйста, хорошо подумайте, прежде чем поднять руку.

Мы хотели, чтобы она продолжила, чтобы понятно объяснила, что подразумевает под этими загадочными словами, которые донеслись до нас так, будто она шепнула на ухо, в темноте; словами, что насмехались, даже ускользая от нас, – и мы напряженно, почти страстно оглядывались, словно одно это доказывало нашу бдительность. Ни одной руки мы не увидели; может, в самой сердцевине нашего облегчения и таился намек на разочарование, но тем не менее то было облегчение; пусть все представление словно шло к какому-то сокрушительному моменту, которого так и не случится, однако наш метатель ножей нас все-таки развлек, разве нет? Нас завели далеко, и мы готовы ему аплодировать, даже сомневаясь в его жестоком искусстве.

– Если никто не желает, – сказала женщина, пристально взглядываясь в нас, точно пытаюсь различить, о чем это мы про себя думаем, а мы, точно избегая ее глаз, вертели головами. – О... да?

Мы тоже ее разглядели, эту наполовину поднятую руку, – она, наверное, все время была поднята, невидимая за креслами в сумраке, – и увидели, как незнакомка поднялась и стала медленно пробираться мимо поджатых коленей, подобранных пиджаков и привставших силуэтов.

Мы глядели, как она поднимается по ступенькам на сцену – высокая угрюмая девушка в джинсах и темной блузке, сутулая, с длинными гладкими волосами.

– А как тебя зовут? – спросила тихо женщина в черном; ответа мы не услышали. – Хорошо, Лаура. И ты готова получить последнюю метку? В таком случае, ты, должно быть, очень храбрая.

– И повернувшись к нам, женщина добавила: – Я прошу вас – пожалуйста – сохранять абсолютную тишину.

Она отвела девушку к черной деревянной перегородке и просто поставила ее там: подбородок вверх, руки неловко висят по бокам. Темная женщина отступила, словно оценивая свою работу, а затем ушла в глубину сцены. Тут некоторым из нас явилась неясная мысль – окликнуть, потребовать объяснений, но мы не знали, против чего станем протестовать, и к тому же нас остановил страх сбить Хеншу удар, или даже причинить вред: мы увидели, что он уже выбрал нож.

То был новый нож, или мы так решили – длиннее и тоньше. И нам почудилось, что там, на сцене, все происходит слишком быстро, ибо где же прожектор, где драма внезапной тьмы, – но Хенш, пока мы удивлялись, сделал то, что делал всегда, – метнул нож. Кто-то услышал, как девушка вскрикнула, кого-то потрясло ее безмолвие, но все мы слышали, как нож не стукнулся об дерево.

Вместо этого мы различили звук мягче, тревожнее, звук, почти подобный тишине, и кто-то говорил, что девушка глянула вниз, будто удивившись. Другие утверждали, что в ее лице, в выражении глаз увидели восторг. Она упала на пол, темная женщина выступила вперед и указала на метателя ножей, а тот впервые обратил внимание на нас. И поклонился нам: глубокий, медленный, грациозный поклон, поклон мастера, до земли. Красный занавес стал медленно опускаться.

Включили верхний свет.

Покидая театр, мы все решили, что это было блестящее представление, хотя не могли отделаться от чувства, что метатель ножей зашел слишком далеко. Он подтвердил свою репутацию, нет слов; он и не пытался заигрывать с нами, и все равно мы ни на секунду не могли отвести от него пристального взгляда. Однако же мы считали, что ему следовало найти какой-то другой способ. Разумеется, последний номер скорее всего был постановкой, девушка наверняка с улыбкой вскочила на ноги, как только упал занавес, однако кто-то припоминал того или иного рода малоприятные слухи, стычки с полицией, иски и встречные иски, грязные делишки. В любом случае, мы всё повторяли себе, что ее вовсе не принуждали, ни одного из них нисколько не принуждали. И уж точно любой на месте Хенша имеет право совершенствовать свое искусство, выдумывать новые номера, язвящие любопытство, – в самом деле, такие улучшения абсолютно необходимы, ибо без них метатель ножей не может и надеяться обратить на себя внимание публики. Как и всем нам, ему приходится зарабатывать на жизнь, а это, следует признать, в наше время непросто. Но в конечном итоге, когда были взвешены все «за» и «против», и тщательно рассмотрены все аспекты, мы так и не смогли отделаться от чувства, что метатель ножей действительно зашел слишком далеко. В конце концов, если поощрять подобные представления, если их хотя бы терпеть, то чего нам ждать в будущем? Разве это не опасно? Чем больше мы об этом размышляли, тем неуютнее нам становилось, и еще долго по ночам, выныривая из тревожных сновидений, мы в смятении и страхе вспоминали гастролирующего метателя ножей.

СВИДЕЛИСЬ

Я девять лет не имел от друга никаких вестей, но не удивился, – ну, не слишком, – когда от него пришла записка, поспешно нацарапанная карандашом. Он сообщал, что «обзавелся женой», и приглашал в гости – в какой-то северный городок, о котором я никогда раньше слышал.

«Приезжай на 16-е и 17-е, – вот что он написал. – К обеду». В бесцеремонности этого приказа – Альберт в лучшем виде. Он набросал карту: маленький черный кружок – «Деревня», маленький белый квадратик – «Мой дом». Между ними – волнистая линия. Под нею значилось: «плюс-минус 3,5 мили». Над ней – «Дорога 39». Знаю я эти сиротливые северные деревушки – молельный дом, три бара и бензоколонка с единственным насосом. Я представил себе, как Альберт в иронической отрешенности живет со своими книгами и маниями. А вот жену его представить не мог. Мне всегда казалось, что Альберт не из тех, кто женится, хотя женщинам он нравился. У меня уже были планы на выходные, но я всё отменил и отправился на север.

Я по-прежнему считал Альберта своим другом, в некотором роде – своим лучшим другом, несмотря на то, что мы не общались девять лет. Скажем так: когда-то он был моим лучшим другом, и думать о нем иначе было нелегко. Даже в те времена крепкой дружбы – последние два курса колледжа и потом еще год, когда мы виделись ежедневно, – другом он был трудным и требовательным. Презирал традиции, однако был сдержан в привычках, порой у него случались вспышки, иногда он внезапно замолкал, серьезный на грани сарказма, нетерпимый к посредственности, про. клятый неизменным чутьем на малейшую фальшь фразы, жеста или взгляда.

Он был красив: резкие черты лица жителя Новой Англии (его семья, как он утверждал, поселилась в Коннектикуте сразу после падения Римской империи), – но невзирая на манящие улыбки однокурсниц, воздерживался от бурных романов с городскими девушками в кожаных куртках: не желал иметь с ними ничего общего. После колледжа мы год вместе снимали комнату в университетском городке, полном кафе и книжных магазинов, платили за нее пополам и дрейфовали от одной пустяковой работы к другой. Я оттягивал неминуемо ожидавшую меня жизнь в костюме с галстуком, а он издевался над моим обыкновенным страхом стать обыкновенным, защищал американский бизнес как единственный оплот оригинальности, читал Платона и «Основы современной шахматной игры» и играл на флейте. Однажды он уехал – вот просто так, – начать то, что он называл новой жизнью. Еще год я получал открытки из маленьких городков по всей Америке с изображением Главных улиц и старинных железнодорожных станций где-то в глухомани.

На открытках он писал что-нибудь вроде «До сих пор ищу» или «Ты не видел мою бритву? Помоему, я оставил ее в ванной». Потом полгода ничего – и вдруг открытка из Юджина, штат Орегон, в которой он подробнейшим образом описывал неопознанный деревянный предметик, обнаруженный в верхнем ящике бюро в спальне, которую он снимал, – а потом девять лет молчания. За это время я устроился на работу и почти женился на старой подруге. Купил дом на симпатичной улице, что тянулась меж рядами кленов и веранд, немало размышлял о старом друге Альберте и спрашивал себя, к этому ли я стремился в те давние дни, когда еще к чему-то стремился, – к такой ли жизни, какой живу сейчас.

Городок оказался хуже, чем я предполагал. Я медленно проехал рассыпающееся кирпичное здание бумажной фабрики с заколоченными окнами, ряды поблекших шелушащихся домов на две семьи, где на просевших верандах сидели и пили пиво парни в черных футболках, тату-салон и вялый ручей. Дорога 39 вилась по полям дикой моркови и желтой амброзии, то и дело попадался унылый домик или грядка пожухлой от солнца кукурузы. Я миновал прогнив-

ший сарай с обвалившейся крышей. Проехав 3,2 мили по одометру, я увидел у края дороги выдававший виды дом.

Перед ним в высокой траве лежал велосипед, открытый гараж был до отказа набит ветхой мебелью. Я неуверенно свернул на немошеную дорожку, остановился, не выключая мотора, вышел и направился к двери. Звонок отсутствовал. Я постучал по сетке, которая громко заколотилась о косяк, и к двери подошла высокая, босая и очень бледная женщина с заспанными глазами, в длинной мятой черной юбке и робе поверх футболки. Я спросил про Альберта, она подозрительно на меня глянула, дважды быстро качнула головой и хлопнула дверью. Направляясь к машине я заметил, как ее бледное лицо смотрит на меня из-за раздвинутых розовых занавесок. Я подумал: может, Альберт женился на ней, а она не в себе? Потом, вырывая с дорожки, я еще подумал, что следует сейчас же развернуться – немедленно – и рвануть подальше от этих путаных приключений в дикой местности. В конце концов, мы не виделись девять долгих лет, все должно быть иначе. На 4,1 милях дорога свернула в гору, и я увидел мрачный дом, притаившийся за пыльными деревьями. Я свернул на непонятную грунтовку, колеистую и заросшую сорняками, и надавил на тормоз, чувствуя себя одиноким и брошенным: вот занесло меня – в богом забытое тошнотворное нигде, мотаюсь тут, словно дурак или преступник. И тут дверь открылась и вышел Альберт: одна рука в кармане, другой машет.

Он был такой же – ну, почти такой же, только смуглее и крепче, чем я помнил, будто он все эти годы жил на солнце; лицо чуть заострилось – красивый мужчина в джинсах и темной рубашке.

– Я все думал, приедешь или нет, – сказал он, подходя к машине, и вдруг будто взгляделся в меня. – Ты выглядишь точно так, как должен, – заметил он.

Я чуть призадумался.

– Все зависит от того, как я должен выглядеть. – Я сурово глянул на него, но он лишь рассмеялся.

– Правда, здорово? – спросил он, направляясь к дому с моей сумкой, и одной рукой обвел все вокруг. – Десять акров и почти задаром. Я все это купил, гулял тут в первый день и опа! как ты думаешь, что я нашел? Виноград. Кучу винограда. Старая упавшая шпалера, а вокруг – сплошь виноград. Италия в Нью-Йорке. Погоди, я тебе еще пруд покажу.

Мы вступили под высокие деревья – дом окружала небольшая рощица кленов и сосен.

Громадные кусты наполовину скрывали окна. Я отметил, как хорошо защищен дом от любопытных взглядов: частное жилье, тенистый остров в море полей.

– И все же, – сказал я, озираясь в поисках его жены, – мне как-то в голову не приходило, что ты можешь жениться.

– Тогда – нет, – отвечал он. – Осторожней, перила.

Мы поднимались по ступенькам длинной, темной передней веранды, и я уцепился за вихляющие железные перила, которым не хватало деревянной обшивки. Вокруг лампочки под крышей жужжали шершни. На веранде стоял просевший шезлонг, старый трехскоростной велосипед, ржавая снежная лопата в металлическом мусорном ящике и деревянные качели с пустым цветочным горшком.

Альберт открыл деревянную дверь с сеткой и несколько манерно пригласил меня войти.

– Скромно, – объявил он, – зато мое.

Он смотрел на меня взволнованно – это волнение объяснить я толком не мог, но оно напомнило мне его волнение давних дней, и, входя в дом, я спросил себя: может, и я в те дни стремился к такому. В доме было прохладно и почти темно – темень глубокой тени, прошитая солнечными лучами. За полуопущенными шторами в окне виднелись ветки. Мы вошли в гостиную, где стояли завалившееся назад кресло-качалка и кушетка с одной подушкой. На древних обоях по всей комнате повторялись какие-то выцветшие сцены. Альберт, все больше нервничая, провел меня по скрипучей лестнице с разошедшимися ступенями в мою комнату:

кровать под розовым покрывалом с рюшами, тумбочка, на которой валялась отвертка с прозрачной желтой ручкой, – и мы быстро спустились обратно.

– Ты, наверно, голоден, – сказал он со странной дрожью в голосе, и через дверной проем повел меня в почти совсем темную столовую. На большом круглом столе бело мерцали в полутьме три прибора. Один стул с круглой спинкой оказался занят. Лишь подойдя ближе, в послеполуденном сумраке я увидел, что на нем, упершись горлом в край стола, сидит огромная, фута два ростом лягушка.

– Моя жена, – сказал Альберт, глядя яростно, словно вот-вот на меня кинется. Я почувствовал, что мне устраивают какую-то дьявольскую проверку.

– Очень приятно, – резко ответил я и сел напротив. Стол озером простирался меж нами. Может, я неправильно понял, думал я, может, это просто игрушка какая-то – но даже в тусклом дневном свете я видел, как движутся огромные влажные глаза, как быстро она дышит. Пахло болотом. Должно быть, Альберт надо мной насмехается, размышляя я, думает, я сейчас покажу то, что, по его представлениям, должно быть моей гнусной буржуазной душонкой. Но в какие бы игры он ни играл, я себя выдавать не собирался.

– Прошу, – сказал Альберт, придвигая ко мне хлебную доску с караваем хлеба и головкой сыра. На столе лежал большой нож, и я принялся резать хлеб. – И отрежь Алисе немного сыру, пожалуйста. – Я немедленно отрезал Алисе немного сыру. Альберт исчез в кухне, и в полутьме я взглянул на Алису через стол, а потом неловко отвел взгляд. Альберт вернулся и поставил передо мной пакет апельсинового сока и маленькую бурую бутылку пива.

– Все, что душе угодно, – сказал он, слегка поклонившись.

Он взял отрезанный для Алисы сыр и порубил на мелкие кусочки у нее на тарелке. Алиса взглянула на него – то есть, мне показалось, что она на него взглянула, – этими своими влажными глазами с тяжелыми веками и проворно слизнула сыр. Потом легла горлом на край стола и замерла.

Альберт сел и отрезал себе хлеба.

– После обеда тебе все покажу. Сходим к пруду и все такое. – Он посмотрел на меня, склонив набок голову, и я внезапно вспомнил этот его жест. – Ну а ты? Давно все-таки не виделись.

– Да вот, все холостяком брожу, – сказал я, и мне сразу не понравился собственный дурацкий тон. Мне вдруг отчаянно захотелось поговорить с Альбертом серьезно, как в старые дни, наблюдая в высокие сводчатые окна, как медленно сереет ночь. Но что-то меня удерживало: слишком много времени прошло, – и хотя после всех этих лет он пригласил меня к себе и показал свою жену, все было как-то косо, будто ничего он мне не показал, будто прятался по-прежнему. Я вспомнил, что и тогда, во времена нашей дружбы, он одновременно казался открытым и замкнутым, будто прятался даже в собственных признаниях. – Не то чтобы у меня был четкий план, – продолжал я. – Встречаюсь с женщинами, но они все какие-то не те. Знаешь, я всегда был уверен, что это я женюсь, а не ты.

– Я сам не планировал. Но приходит момент – и тогда понимаешь. – Он с нежностью взглянул на Алису, внезапно наклонился и кончиками пальцев легко коснулся ее головы.

– А как вы... – начал я и умолк, почувствовав, что сейчас заору от хохота или от злости – чистой злости, – но сдержался, притворился, что все хорошо. – То есть, как вы познакомились?

Вы двое. Если позволишь спросить.

– Как официально! Если позволишь спросить! У пруда – если позволишь ответить. Я однажды встретил ее в камышах. Я ее до этого не видел, но она вообще-то всегда там сидела. После обеда покажу место.

Этот маленький издевательский упрек меня рассердил, и я вспомнил, как Альберт всегда меня злил – какой-нибудь насмешкой, косым ироническим взглядом заставлял уходить в себя, – и я подумал: как странно, что человек, который меня злил и заставлял уходить в себя,

одновременно раскрепощал меня, делал свободнее, выше того порабощенного меня, кто будто всегда мне же самому сдавливал горло. Но, в конце концов, кто такой Альберт, чтобы иметь власть освобождать или порабощать? Ибо я уже не знал этого человека с его обветшалым домом и нелепой женойлягушкой.

Некоторое время я угрюмо жевал, глядя в тарелку, а когда поднял глаза, увидел, что он смотрит на меня с нежностью, почти с любовью.

– Это ничего, – тихо сказал он, точно понял, точно знал, как трудно мне со всем этим – с этой поездкой, с этой женой, с этой жизнью. И я был благодарен, как всегда, потому что мы – я и он – снова стали близки.

После обеда он настоял на том, чтобы показать мне участок – свои владения, как он его называл. Я надеялся, что Алиса останется в доме, и я смогу поговорить с ним наедине, но он явно хотел, чтобы она к нам присоединилась. Так что когда мы вышли через заднюю дверь и вступили в его владения, она последовала за нами, делая прыжки в два шага длиной, – всегда чуть позади или чуть впереди нас. За домом клочок заросшей лужайки переходил в огород по обе стороны тоже заросшей дорожки. Усы зеленого горошка и бобов взбирались там на высокие колья, росли грозди зеленого перца, ряды моркови и редиски, помеченные пакетиками от семян на маленьких палочках, толстые головы латука и желтые вспышки кабачков – богатый и ухоженный оазис, словно вся жизнь сосредоточилась здесь, снаружи, прячась за домом. В углу росли фруктовые деревья – груша, вишня и слива. Старая проволочная изгородь со сло-манными деревянными воротами отделяла огород от остальных владений.

Мы прошли по смутной тропке через поля высокой травы, миновали заросли дубов и кленов, пересекли ручей. Алиса не отставала. На солнце, снаружи, Алиса больше не казалась абсурдным домашним животным, безобразной ошибкой Природы, жабой из ночного кошмара и нелепой женой.

Скорее некая спутница – она оставалась с нами, отдыхала, когда отдыхали мы, – Альбертова приятельница. И все же она была не просто приятельница. Ибо стоило ей выпрыгнуть на солнце из высокой травы или тени деревьев, какую-то секунду я, внутренне вздрогнув, видел или чувствовал Алису как она есть, Алису в абсолютном сиянии и полноте ее существования. Словно темный малахитовый блеск ее кожи, бледное мерцание ее горла, влажное тепло глаз были естественны и таинственны, как полет птицы. Затем я приходил в себя и осознавал, что просто гуляю со старым другом в компании отвратительной неуклюжей жабы, как-то ухитрившейся стать ему женой, и рев внутреннего хохота и ярости переполнял меня, но его мгновенно умирляли перека-т лугов, тенистые рощи, черный ворон, что взлетел над деревом, медленно поднимая и опуска-я крылья, – все выше и выше в бледно-голубое небо с тонкими папоротни-ками облаков.

Пологий склон кончился, и перед нами возник пруд. Заболоченные берега сплошь заросли камышом и рогозом. Мы сели на плоские валуны и уставились в буро-зеленую воду, где покачивались несколько коричневых уток. Взгляд наш скользил дальше, через поля к линии низких холмов. Была в этой заброшенности такая красота, будто мы достигли края света.

– Вот там мы впервые и встретились, – сказал Альберт, кивнув на камыши. Алиса при-мостилась сбоку, почти распластавшись в траве у воды. Неподвижная, как валун, только бока ходят туда-сюда, когда дышит. Я представил себе, как она подрастает в глубине пруда, под покровом листьев кувшинок и крапчатой ряской, там, куда не проникают зеленые солнечные лучи, далеко внизу, на безмолвном дне этого мира.

Откинувшись назад и опершись на оба локтя – я прекрасно помнил эту позу, – Альберт глядел в воду. Мы долго молчали, и мне даже стало неудобно, хотя он, похоже, был спокоен. Дело даже не в том, что мне было неловко при Алисе, – скорее я не понимал, что должен сказать, проехав весь этот путь. Хочу ли я вообще говорить? Потом Альберт произнес:

– Расскажи, как живешь. – И я был ему благодарен, потому что хотел поговорить именно об этом – о своей жизни. Я рассказал ему о почти-женитьбе, о дружбах, которым не хватает огня, о подругах, которым тоже чего-нибудь не хватает, о хорошей работе, которая почему-то не совсем то, к чему я стремился тогда, давным-давно, о том, что я чувствую, будто все хорошо, но не так хорошо, как могло быть, что я не несчастен, но и не счастлив, торчу где-то посередине, глядя и туда, и сюда. И говоря это, я понял, будто смотрю в одну сторону на счастье, все более неуловимое, и в другую – на несчастье, которое постепенно проясняется, хоть и не открываясь целиком.

– Это тяжело, – сказал Альберт так, словно понял, о чем я. Меня его тихие слова утешили, но я был разочарован, что он не сказал больше, не доверился мне. И я спросил:

– Почему ты мне написал – ведь столько времени прошло? – Просто один из способов спросить: «почему ты не писал мне все эти годы?»

– Я ждал, – ответил он, – когда у меня будет, что тебе показать. – Так и сказал: «что тебе показать». И тогда мне пришло в голову, что если через девять лет он может показать мне только свой обветшалый дом и жену-лягушку из болота, то у меня все по-своему не так уж плохо – ну, не совсем.

Потом мы пошли по его владениям дальше, и Алиса все время была с нами. Он мне показывал, а я смотрел. Показал старую виноградную шпалеру, которую он снова поднял; незрелые зеленые виноградины, тяжелые, как орехи, гроздьями свисали с гниющих перекладин.

– Попробуй, – сказал он, но виноградина была горькая, будто крохотный лимон. Увидев мою гримасу, он засмеялся. – Мы их вот так едим, – сказал он, собрал несколько в ладонь, а потом кинул в рот. Сорвал еще несколько и протянул Алисе. Та стремительно слопала: плим-плим-плим.

Он показал мне гнездо дятла, склон с дикими тигровыми лилиями и старый сарай, где валялись ржавая тяпка и ржавые грабли. Внезапно с поля неподалеку, громко хлопая крыльями, поднялась большая птица.

– Видел? – закричал Альберт, схватив меня за руку. – Фазан! Птенцов защищает. Вон, смотри.

– В высокой траве маршировал строй из шести маленьких, пушистых, уткообразных существ – еле головы видны.

За ужином Алиса сидела на своем стуле, упершись горлом в край стола, а Альберт проворно бегал между столовой и кухней. Присутствие толстой бутылки красного вина меня обрадовало; он разлил вино в два стакана для сока с портретами Иа-Иа и Винни-Пуха.

– Парень с бензоколонки подарил, – сказал Альберт. Внезапно нахмурился, сжал пальцами лоб, потом просиял: – Вспомнил. «Иду вперед, тирлим-бом-бом, и снег идет, тирлим-бом-бом»^[1]. – Он налил чуть-чуть вина в глубокую тарелку и поставил перед Алисой.

На ужин подавались: разогретая курица из супермаркета, свежий кабачок с огорода и огромные тарелки салата. Альберт был весел, мурлыкал обрывки песен, зажег свечной огарок в зеленой винной бутылке, снова и снова наполнял наши стаканы и Алисину тарелку, настаивал, чтобы я пил до дна, энергично хрустел салатом. Дешевое вино жгло мне язык, но я все пил – мне хотелось разделить с ним праздник. Даже Алиса вылакивала вино из тарелки до дна. Свеча в темневшей комнате разгоралась ярче, сквозь ветки за окном я видел лучи заката. Восковая струйка потекла по бутылке и застыла. Альберт принес доску, еще салата, еще один каравай. Трапеза продолжалась, и мне казалось, будто Алиса, слизывая вино, огромными, влажными и темными при свече глазами смотрит на Альберта. Смотрит и пытается привлечь его внимание. Альберт откидывался на стуле, смеялся, разглагольствуя, помахивал рукой, но мне чудилось, будто они с Алисой переглядываются. Да, за сумеречным столом они обменивались взглядами, и я увидел, что это взгляды влюбленных. Я пил, и теплое, глубокое чувство переполняло меня, обволакивало комнату, еду, стаканы с Винни-Пухом, огромные влажные глаза,

отражение свечи в черном окне, взгляды Альберта и его жены; в конце концов, он ее выбрал, тут, в глуши, и кто я такой, чтобы в подобных вопросах судить, что правильно, а что нет.

Альберт вскочил, вернулся с тарелкой груш и вишен из сада, снова долил вина мне в стакан. Я наслаждался этим теплым, всеохватным чувством, предвкушая ночь разговоров, лениво расстилавшуюся передо мной, – и тут Альберт объявил, что уже поздно, и они с Алисой пойдут спать. В моем распоряжении весь дом. Только обязательно свечу задуй. Спокойной ночи. Сквозь шум в голове я ощутил, как на меня навалилось разочарование. Альберт отодвинул жене стул, и та спрыгнула на пол. Они вместе покинули столовую и исчезли в темной гостиной, где Альберт зажег лампу, тоже тусклую, как свеча. Он заскрипел вверх по лестнице, и мне показалось, что я смутно слышу глухие шлепки: я представил, как Алиса неуклюже взбирается за ним следом.

Я сидел, слушая стук и скрипы на втором этаже, внезапный резкий шум воды в раковине, взвизг – что это был за взвизг? – вот хлопнула дверь. Внезапно от стола кругами растеклась тишина, и я почувствовал, что меня бросили с этим вином, свечкой и мерцающими тарелками. Да, я понимал, что непременно так все и будет, и никак иначе, я же видел их влюбленные взгляды, этого следовало ожидать. И разве тогда, давным-давно, за ним не водилось привычки внезапно уходить?

Потом я спросил себя, вправду ли они были – те разговоры до серого света зари, или я просто о них мечтал. Потом представил, как Алиса прыгает на белую простыню. И попытался вообразить любовь с лягушкой, возможные удовольствия, влажное иступление, но заставил себя не думать об этом, потому что в воображении мне явилось лишь нечто мелкое и жестокое – вообще какое-то насилие.

Я допил вино и задул свечу. Из темной комнаты мне был виден призрачный угол холодильника на кухне и тускло освещенный красный подлокотник кушетки в гостиной – точно мертвый цветок под луной. По дороге проехала машина. Потом я услышал сверчков, целые поля и луга сверчков, – стрекот, что всегда доносился с задних дворов и пустых лужаек детства, нескончаемое стрекотание умирающего лета. А сейчас только середина лета, правда же? Я только на прошлой неделе целый день загорал на пляже. Я долго сидел за темным столом посреди гниющего дома, прислушиваясь к концу лета. Потом взял пустой стакан, молча поднял его за Альберта и его жену и отправился спать.

Но спать я не мог. Может, из-за вина или сбитого комьями матраса, или потому что было рано, только я ворочался с боку на бок, и пока вертелся, дневные события мрачно сгущались в моем сознании: я видел спятившего друга, разрушенный дом и уродливую безобразную жабу. И себя – слабого и нелепого, выворачивающего себе мозги в абсурдное сочувствие и понимание. Потом впадал в забытие и тут же приходил в себя – или, может, то был один долгий сон с частыми полупробуждениями. Я иду по длинному коридору, а в конце его – запретная дверь. С угрюмым волнением открываю дверь и вижу Альберта – он стоит, скрестив руки на груди, и сурово на меня смотрит. А потом начинает кричать, лицо страшно краснеет, он наклоняется и бьет меня по руке.

Из глаз у меня текут слезы. За его спиной кто-то встает и подходит к нам. «Вот, – проносит этот кто-то, который тоже почему-то Альберт, – возьми». Его кулак обернут носовым платком, и когда я сдергиваю платок, большая лягушка сердито поднимается в воздух, отчаянно хлопая крыльями.

Я проснулся в расчерченной солнцем комнате, напряженный и измученный. Через пыльное окно виднелись ветви с трехпальными листьями, а между ними – голубые клочки неба. Было около девяти. Голова болела в трех местах: правый висок, затылок и за левым глазом. Я быстро умылся и оделся, спустился по темной лестнице – и чем ниже я спускался, тем больше сгущался мрак. На выцветших обоях я различил две повторяющиеся сценки: выцветший мальчик

в синем лежит в выцветшем желтом стогу сена, возле него – пастуший рожок; девочка в белом тащит воду из выцветшего колодца.

Гостиная была пуста. Опустел, похоже, весь дом. Тарелки после ужина оставались на круглом столе в сумеречной столовой. Перед отъездом я хотел лишь чашку кофе. В чуть менее темной кухне я нашел старую банку с растворимым и щербатый синий чайник с маленькой наклейкой – рыжим бронтозавром. Послышался какой-то стук: сквозь листья и ветки я увидел в окно кухни Альберта – он стоял ко мне спиной и что-то копал. Снаружи был яркий солнечный день. Возле Альберта в грязи сидела Алиса.

Я взял чашку затхлого на вкус кофе в столовую и выпил за столом, прислушиваясь к ударам Альбертовой лопаты. В плохо освещенной комнате за круглым коричневым столом было мирно. В кухне переливался косой солнечный луч. Он мешался с птичьим свистом, листвою в окне, бурым сумраком, ударами лопаты, что переворачивала грунт. Мне пришло в голову, что можно просто упаковать вещи и выскользнуть, избежав неловкости прощания.

Я допил унылый кофе и отнес чашку в кухню. Внутренняя дверь на задний двор была приоткрыта. Я замер с пустой чашкой в руке. Повинуясь внезапному порыву, приоткрыл дверь еще чуть-чуть и скользнул между нею и сеткой.

Сквозь погнутую проволоку футак в десяти от дома я видел Альберта. Рукава закатаны, ногой давит на лопату. Он перекапывал грязь на краю сада, переворачивал ее, вгрызаясь в грунт, отбрасывая комья травяных корней. Алиса сидела рядом и наблюдала. Альберт, двигаясь вдоль границы сада, то и дело на нее оглядывался. Секунду они смотрели друг на друга, а затем он возвращался к работе. Стоя в теплой тени полуоткрытой двери, глядя сквозь сетчатую рябь в сад, трепетавший от солнца, я ощутил, как между Альбертом и его женой вибрирует таинственный ритм, легкость или жизнерадостность, зыбкая солнечная гармония. Словно оба сбросили кожу и смешались с воздухом или растворились в свете. И видя это воздушное смешение, мягкое таяние, скрытую гармонию, ясную, как звон далекого колокольчика, я вдруг понял, что именно этого не хватает мне, моей жизни – именно такой гармонии. Словно я сделан из какого-то гранита, который никогда ни в чем не растворится, а Альберт открыл тайну воздуха. Но у меня начало болеть горло, яркий свет жег глаза, я с грохотом, точно стукнув молотком, поставил чашку на стол, толкнул дверь и вышел наружу.

В лучах света Альберт обернулся.

– Хорошо спал? – спросил он, ладонью медленно отирая вспотевший лоб.

– Вполне. Только знаешь, надо мне возвращаться. Просто куча дел! Ты же понимаешь.

– Конечно, – ответил Альберт. Он стоял, опираясь на лопату. – Я понимаю. – Я отметил, что в тоне его блестяще уравновесились понимание и насмешка.

Он вынес мне сумку и закинул ее в машину. Алиса проскакала столовую и гостиную и замерла в глубокой тени веранды. Я заметил, что она старательно держится так, чтобы ее не было видно с дороги. Альберт наклонился ко мне в окно и скрестил руки на дверце.

– Окажешься в наших краях, – сказал он, но кто вообще может оказаться в их краях? – заезжай.

– Конечно, заеду, – ответил я.

Альберт выпрямился и, выставив вбок локоть, потер плечо.

– Будь здоров, – сказал он, слегка махнул рукой и отступил назад.

Я вырулил с грязной дорожки, направился к дороге 39, и мне показалось, будто дом съезживается в своей чаше и своих тенях, исчезая в глубине сумеречного острова. Альберт уже пропал. С дороги я видел лишь высокие деревья, сгрудившиеся вокруг мрачного дома. Через несколько секунд на повороте я вновь оглянулся. И, должно быть, на секунду замешкался, потому что дорога уже нырнула, дом скрылся из глаз, и под ярким солнцем я увидел лишь редкие придорожные деревья, безоблачное небо и нескончаемые поля дикой моркови.

СЕСТРЫ НОЧИ

Что нам известно

Посреди яростных обвинений и истерических слухов молва и толки совершенно вытеснили тщательный анализ фактов. Похоже, теперь и сама беспристрастность – от лукавого. В такой обстановке полезно сбавить тон и определить, что же нам в действительности известно. Нам известно, что девочкам – от двенадцати до пятнадцати лет. Нам известно, что они собираются в группы по пять-шесть человек, хотя порою встречаются группы поменьше или побольше – от двух до девяти. Известно, что они уходят и приходят лишь по ночам. Известно, что они выискивают темные тайники, какие-нибудь заброшенные дома, церковные погреба, кладбища или леса к северу от города. Нам известно – или кажется, будто известно, – что они дали обет молчания.

Что говорят

Говорят, девочки раздеваются по пояс и летними ночами дико пляшут под луной. Говорят, они разрисовывают себе грудь змеями и странными символами. Грудью трутся об груди других девочек, возбуждая друг друга – так тоже говорят. Мы слышали, они пьют теплую кровь убитых животных.

Поговаривают, что девочки не чужды колдовству, противоестественным половым актам, пыткам, черной магии, отвратительным надругательствам. По слухам, те, что постарше, увлекают младших к Сестрам и развращают. Еще говорили, что девочки владеют оружием: булавами, ножницами, перочинными ножами, иглами, кухонными тесаками. Ходят слухи, что они поклялись убивать любую, кто захочет покинуть Сестер. Рассказывали, что девочки пьют белесую жидкость, от которой бьются в эротическом экстазе.

Признание Эмили Геринг

Время от времени до нас долетали слухи о тайном обществе, но мы почти не обращали на них внимания – до признания Эмили Геринг. 2 июня она опубликовала в «Городском вестнике» тревожное письмо. В нем говорилось, что 14 мая в четыре часа дня с ней на спортивной площадке неполной средней школы Дэвида Джонсона контактировала старшеклассница Мэри Уоррен, порой игравшая с младшими в баскетбол. Мэри Уоррен сунула Эмили в руку сложенный вдвое маленький листок бумаги. Развернув его, Эмили Геринг увидела, что одна половина закрашена черным. Эмили заволновалась и испугалась: то был знак Сестер Ночи, загадочного и неприступного тайного общества, о котором много болтали на площадке, в раздевалках и душевых неполной средней школы Дэвида Джонсона. Ей приказали никому ничего не говорить и прийти одной в полночь на автостоянку за пресвитерианской церковью. По словам Эмили Геринг, явившись на стоянку, она сначала никого не увидела, но затем встретилась с тремя девочками, которые выскользнули из тайников: Мэри Уоррен, Изабел Роббинс и Лорой Линдберг. Девочки провели ее по стоянке, по тихим улицам, через задние дворы к лесу севернее города, где ждали еще три девочки – Кэтрин Андерсон, Хильда Майер и Лавиния Холл. Мэри Уоррен спросила Эмили, нравятся ли ей мальчики.

Эмили ответила «да», и девочки стали дразнить ее и смеяться, будто она сказала глупость. Потом Мэри Уоррен приказала ей снять блузку. Эмили отказалась, и девочки пригрозили привязать ее к дереву и всю истыкать булавами. Она сняла блузку, и все девочки принялись ласкать ее груди, гладить их и целовать. Потом ей предложили погладить других девочек; она отказалась, но они схватили ее за руки и заставили потрогать их груди. Одна девочка еще трогала ее «в другом месте». Мэри Уоррен предупредила, что если Эмили скажет кому-нибудь хоть слово, ее накажут; тут Мэри Уоррен вытащила кухонный нож с костяной ручкой. По сло-

вам Эмили Геринг, девочки собираются каждую ночь, в разное время и в разных местах, группами по пять-шесть-семь; кроме того, Эмили сообщила, что состав группы непрерывно меняется, и ей рассказывали о встречах других групп еще где-то. Девочки всегда снимают блузки, ласкают и целуют друг друга, иногда разрисовывают груди змеями и странными символами, посвящают в свои секретные обряды новичков. Эмили Геринг вспомнила и перечислила имена шестнадцати девочек. Она рассказала, что к концу мая больше не могла с этим жить. Два дня спустя она доставила в «Городской вестник» письменное признание, в котором призывала городские власти положить конец распространению эпидемии Сестер среди девочек неполной средней школы Дэвида Джонсона.

Защита Мэри Уоррен

В ответ на эти обвинения, потрясшие наше общество, Мэри Уоррен опубликовала в «Городском вестнике» от 4 июня подробное опровержение. Она начала с того, что абсолютное молчание – закон Сестер, и любое выступление члена группы, касающееся их общества, наказывается мгновенным исключением. Тем не менее, нападки Эмили Геринг убедили Мэри Уоррен в необходимости выступить в защиту Сестер, даже рискуя поплатиться изгнанием. Она признала, что контактировала с Эмили Геринг, избранной для инициации группой «искателей», чьи имена Мэри Уоррен отказалась назвать; что она передала Эмили Геринг закрашенный листок бумаги, встретила с ней на задворках пресвитерианской церкви в полночь в присутствии двух других членов группы, чьи имена она отказалась назвать также, и отвела в лес. С этого момента, утверждала Мэри Уоррен, отчет Эмили Геринг насквозь лжив – злобные, оскорбительные нападки, причина которых яснее ясного. Ибо Эмили Геринг не упомянула о том, что 30 мая была исключена из группы за нарушение обета молчания. Из заявления Мэри Уоррен непонятно, что за обет молчания дают члены группы, или каким образом Эмили Геринг его нарушила, однако ясно, что Эмили Геринг, как утверждается в заявлении, была ужасно расстроена изгнанием и угрожала мстостью. Затем Мэри Уоррен повторила, что признание Эмили Геринг – не что иное, как злобная выдумка. Мэри Уоррен заявила также, что по причине данного ею обета молчания вообще отказывается обсуждать Сестер, и готова сказать только одно: Сестры Ночи – благородное, чистое общество, посвятившее себя молчанию. Она выразила опасение, что клевета Эмили Геринг причинила обществу вред, и закончила, с жаром умоляя родителей нашего города не обращать внимания на ложь Эмили Геринг и доверять своим дочерям.

Ночные тревоги

Мы неоднозначно восприняли опровержение Мэри Уоррен. С одной стороны, ее разумность произвела на нас впечатление, и мы были благодарны за то, что она дала нам основания усомниться в признании Эмили Геринг. Но с другой стороны, отказ Мэри Уоррен говорить о Сестрах породил новые сомнения, и скорее обернулся против нее. Мы с тревогой отметили существование группы «искателей», ритуал закрашивания бумаги, тайные встречи в лесу, суровые обеты; невинны ли эти девочки, мучились мы, и что же такое они поклялись не выдавать? Тогда мы и стали просыпаться среди ночи и спрашивать себя: как же мы упустили своих дочерей? Тогда и начали поговаривать о группах девочек, что скитаются в ночи, бродят по задним дворам во тьме; до нас долетали слухи о странных криках, о раскрашенных грудях, о диких плясках под летней луной.

Смерть Лавинии Холл

Дочери нашего города – мы подозревали, что многие из них тайно состоят в обществе Сестер, – стали угрюмы, беспокойны и раздражительны. Они отказывались с нами разговаривать, запирались у себя в комнатах, требовали, чтобы мы оставили их в покое. Это угрю-

мое молчание мы считали доказательством их причастности; мы слонялись вокруг, шпионили, дышали им в затылки.

В этой напряженной и тягостной атмосфере 12 июня, через десять дней после признания Эмили Геринг, четырнадцатилетняя Лавиния Холл поднялась на два лестничных пролета в мансарду родительского дома, в комнату для гостей, и там, лежа на пухлом ватном одеяле, сшитом ее бабушкой, проглотила двадцать отцовских таблеток снотворного. Она не оставила записки, но мы помнили, что, по словам Эмили Геринг, Лавиния Холл была одной из Сестер и участвовала в эротических обрядах. Позже мы узнали от ее родителей, что признание Геринг убило Лавинию – тихую, начитанную девочку, что по два часа в день после школы играла этюды Черни [2] и сонаты Моцарта, вела дневник и далеко за полночь сидела над трилогиями фэнтези с вьющимися лозами на обложках. После признания Эмили Геринг Лавиния отказалась отвечать на какие бы то ни было вопросы о Сестрах и стала вести себя странно, по много часов сидела, запершись у себя в комнате, а по ночам беспокойно бродила по дому. Однажды ее родители в два часа ночи услышали шаги в мансарде над своей спальней. Они поднялись по скрипучей деревянной лестнице и увидели, что Лавиния в бледно-голубой пижаме сидит на полу в лунных полосах перед старым кукольным домиком, – его перенесли в мансарду в конце шестого класса, и восемь комнат в нем были попрежнему заставлены игрушечной мебелью. Лавиния сидела, обхватив руками колени. Босиком. До странности неподвижная. Ее мать помнит одну деталь: из-под закатанного рукава пижамы выглядывал локоть. Три крошечные, совсем пыльные куклы недвижно сидели в залитой лунным светом гостиной кукольного домика: ребенок на затянутой паутиной кушетке, мать в качалке, отец в кресле с малюсенькими кружевными салфеточками. Родители винили себя в том, что не поняли, насколько серьезно состояние дочери, а Сестер называли не иначе как бандой убийц.

Второе признание Эмили Геринг

Не успели мы примириться с новостью о смерти Лавинии Холл, как Эмили Геринг опубликовала в «Городском вестнике» второе признание, разозлившее нас и повергнувшее в смятение. Ибо в нем она отрекалась от первого признания и, приняв сторону Мэри Уоррен, каялась, что придумала его с целью отомстить за изгнание из общества Сестер. Теперь Эмили Геринг свидетельствовала, что 14 мая ночью Мэри Уоррен и еще две девочки отвели ее в лес, о чем она честно сообщила 2 июня, однако в лесу не происходило «вообще ничего». Об инициации было сказано только, что она «заклучалась в молчании»; еще две недели Эмили Геринг каждую ночь встречалась с небольшими группами Сестер, и во время этих встреч никто не произносил «ни единого слова», и «вообще ничего» не происходило. 30 мая ее изгнали за нарушение обета: она рассказала о тайном обществе своей подруге Сюзанне Мэйсон, а та, в свою очередь, рассказала Бернис Турман, не зная, что Бернис – тайный член общества. Теперь Эмили Геринг утверждала, что сожалела о своем признании с момента публикации в «Городском вестнике», но стыдилась признать, что лгала.

Смерть Лавинии Холл так ее потрясла, что она решилась сказать правду. Она брала на себя вину за смерть Лавинии, просила прощения за то, что причинила такое горе родителям, и пылко говорила о Сестрах – чистом, благородном обществе, придавшем ее жизни смысл. Она мечтала о том дне, когда славное общество Сестер распространится по другим городам и захватит весь мир.

Отклик на второе признание

Как нетрудно понять, второе признание целиком подорвало доверие к Эмили Геринг как свидетелю, но наши сомнения, поначалу нацеленные на признание от 2 июня, вскоре обратились ко второму признанию. Мы заметили, что Эмили Геринг описывала Сестер словами Мэри Уоррен; это совпадение навело некоторых из нас на мысль, что Мэри Уоррен вынудила Эмили

Геринг отречься от первого признания и взять на себя всю вину в обмен на восстановление в обществе Сестер или иную награду, о которой нам оставалось лишь гадать. Другие с неприязнью отмечали пламенный финал и говорили, что если на этот раз Эмили Геринг и говорит правду, то правда эта неполна и возмутительна. Ибо даже если девочки и в самом деле невинны, то природа их общества по-прежнему тщательно скрывается. С другой стороны, энтузиазм Эмили Геринг, которой не удалось вырваться от Сестер, разоблачает пугающую силу общества. С этой точки зрения, второе признание, казалось бы, призванное оправдать общество, продемонстрировать его невинность, в действительности раскрывает еще более чудовищную правду о нем, о его цепкой власти над девочками и о глубочайшей преданности, которую оно из девочек выжимает.

Показания д-ра Роберта Майера

В тот период тревог и неуверенности из неожиданного источника поступили новые данные. Д-р Роберт Майер, дерматолог, у которого кабинет на Брод-стрит, ужасно расстроился, когда Эмили Геринг в своем признании от 2 июня упомянула его дочь Хильду. По его словам, Хильда называла Эмили Геринг лгуньей, однако про Сестер говорить отказывалась; после первого признания Хильда стала угрюмой и раздражительной, а по ночам он слышал ее шаги по комнате. После трех ночей чудовищной бессонницы Роберт Майер принял важное решение: он обязан последовать за дочерью и прекратить ее сексуальные эксперименты. На четвертую ночь около двенадцати он услышал скрип шагов в прихожей. Он скинул одеяло, натянул тренировочный костюм и кроссовки и последовал за Хильдой в прохладную летнюю ночь. В квартале от дома она встретилась с двумя другими девочками, которых Майер не знал. Три девочки в джинсах, футболках и ветровках, повязанных на талии, направились в лес к северу от города. Майера, человека глубоко порядочного, переполняло отвращение к себе и омерзение, когда он в ночи преследовал трех девочек, прячась за деревьями, словно шпион из фильмов, что показывают только поздно ночью; пробираясь по задворкам мимо качелей, бадминтонных сеток и толстых пластмассовых бейсбольных бит. Ему пришло в голову, что он делает нечто отвратительное и притом абсурдное.

Он не знал, что предпримет, добравшись до леса, но в одном был уверен: он отведет дочь домой. В лесу пришлось двигаться с фанатической осторожностью, поскольку любой треснувший сучок мог его выдать; ему вспомнились прогулки по сосновой хвое в детстве, перепутанные с мальчишескими грезами об индейцах молчаливых лесов. Девочки перешли ручей и появились на маленькой залитой лунным светом лужайке, отлично защищенной соснами. Там их ждали еще четыре девочки.

Стоя за толстым дубом футах в двадцати от них, Майер смотрел, злясь на себя и испытывая глубочайший ужас перед тем, что ему предстоит наблюдать. Семь девочек не разговаривали – только приветствовали друг друга кивками. Затем, видимо, по условленному плану, уселись в маленький тесный круг и подняли руки, сцепившись локтями. После безмолвного знака девочки разбрелись, сели под отдельные деревья или легли, закинув руки за голову. Никто не произнес ни слова. Ничего не происходило. Майер наблюдал тридцать пять минут, затем повернулся и стал выбираться прочь.

Отклик на показания Майера

Показания Майера, отнюдь не решившие проблемы с Сестрами, погрузили нас в пучину полемики. Враги Сестер высмеивали отчет, хотя приводили различные доводы в доказательство его недостоверности. Одни говорили, что Майер придумал все от начала до конца, столь топорным способом пытаясь защитить свою дочь; другие возражали, что умная Хильда Майер подготовила весь эпизод и коварно завела отца в лес, чтобы там он стал свидетелем срежиссированной сцены «Невинные девы на отдыхе». Третьи отмечали, что даже если не было ника-

кого жульничества со стороны Роберта Майера или его дочери, показания абсолютно ничего не решают: Майер, по его собственному признанию, не присутствовал при всей встрече целиком, видел девочек лишь однажды, и кроме того, наблюдал лишь одну группу из многих. Ведь маловероятно, говорили люди, крайне маловероятно, чтобы девочки в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет каждую ночь ускользали из дома, рискуя заслужить родительское неодобрение или даже наказание, встречались с другими девочками в уединенных и, возможно, опасных местах лишь затем, чтобы ничего не делать. Мы не хотим непременно сказать, что девочки делают нечто запретное, хотя нельзя исключить и такую возможность, мы лишь напоминаем: то, что они делают, остается невыносимо неизвестным. Вероятно даже, что в тот самый момент, когда на них смотрел Майер, девочки проводили тайный обряд, которого он не распознал; может быть, у них имеется система знаков и сигналов, которые Майер не способен расшифровать.

Город

Ночь за ночью члены тайного общества Сестер отправляются из уютных тихих комнат, комнат своего детства – разыскивать темные тайники. Порой мы видим, или нам чудится, как они исчезают в тенях задних дворов, залитых светом кухонных окон, или крадутся через темную лужайку. Они пренебрегают нашими желаниями, равнодушны к нашему несчастью, они кажутся иным племенем – дикие создания ночи с текучими волосами и глазами, полными огня, – и вздрогнув, мы вспоминаем, что это наши дочери. Как нам справиться с дочерьми? Мы тревожно наблюдаем за ними, боясь спровоцировать на открытое неповиновение. Некоторые говорят, что по ночам их следует запира́ть в спальнях, повесить решетки на окна, жестоко наказывать снова и снова, пока не склонят покорно головы. Один отец, говорят, по ночам бельевой веревкой привязывает тринадцатилетнюю дочь к кровати, а за каждый крик награждает ударом кожаного ремня. Большинство сокрушаются о подобных методах, но по-прежнему не понимают, что делать. А дочери наши беспокойны, ночь за ночью мы видим, как группы девочек исчезают в темноте, куда не дотягивается свет уличных фонарей. Общество Сестер растет. Поступают сообщения о девочках, что идут через парковку за лесным складом, встречаются в рошицах за теннисными кортами средней школы, выбираются из подвалов недостроенных домов, появляются из лодочного сарая возле Южного пруда. Они всегда ходят по ночам, будто ищут что-то, чего не найти под солнцем; а нам, кто остается дома, без сна, в темноте, слышится, будто далекий гул грузовиков на шоссе, нескончаемый слабый звук шагов, что легко пересекают темные лужайки и тускло освещенные дороги, шуршат по мощеным улицам, по песку обочин и темной листве лесных тропинок, беспрестанный шелест шагов, что сплетаются и расплетаются в ночи.

Объяснения

Одни говорят, что девочки собираются на шабаши, где старшие наставляют их в колдовстве; ходят слухи о заклинаниях, зельях, обросшей козьей шерстью фигуре, жутких припадках и безудержных страстях. Другие утверждают, что девочки – сестры луны: они танцуют пред лунной богиней древности, отдавшись ее холодным неистовым мистериям. Третьи уверяют, что Сестры потеряли покой в скуке и пустоте жизни среднего класса, и общество их существует единственно ради эротических экспериментов. Четвертые считают подобные объяснения попыткой очернить женщин и настаивают на том, что Сестры – интеллектуальная и политическая ассоциация, действующая во имя идеалов свободы. Пятые же отмета́ют эти трактовки, утверждая, что общество обладает всеми признаками религиозного культа: инициация, обет, тайные встречи, фанатичная преданность, отказ нарушить молчание. Множество толкований, отнюдь не способных кинуть четкий луч яркого света на тайники Сестер, постепенно

сплавились в общую массу, сгустились в мутную темень, и внутри нее девочки невидимы по-прежнему.

Неведомое

Как и прочие обеспокоенные граждане, ночами я размышлял о Сестрах и о множестве объяснений, пока не серела тьма за окном. Я спрашивал себя, отчего мы, судя по всему, не способны раскрыть их тайну, не можем застать их за преступлением. Если я уверен, что в конце концов нашел истинное объяснение, которое нам следовало разглядеть с самого начала, то не потому, что знаю нечто, не известное другим. Скорее мое объяснение воздаст почести неведомому и невидимому, включает его в общую картину наряду с тем, что мы действительно знаем. Ибо именно неведомое, что так разрослось в этой истории, должно стать частью отгадки. Девочки, которых мы пытаемся себе представить, уходят в неведомое все дальше. Неведомое проникает в них какой-то черной жидкостью. Может, наши поиски тайны завели нас не туда, ибо мы не учли, что неведомое – ключевой элемент этой тайны? Может, из-за нашей ненависти к неведомому, нашей потребности сорвать его покровы, уничтожить его, изнасиловать резким и бурным актом понимания оно разбухает темной силой, точно зверь, что питается ударами наших пик? Может, мы не ту ищем тайну – тайну, которой жаждем сами? Или, иными словами, может быть, тайна лежит пред нами открытая и нам уже известна?

Тайна Сестер

Я утверждаю, что мы уже знаем все необходимое для проникновения в тайну Сестер Ночи. Д-р Роберт Майер, одинокий свидетель их собрания, рассказал, что в те тридцать пять минут его наблюдения за девочками не происходило абсолютно ничего. Во втором своем признании Эмили Геринг утверждала, что не происходило ничего – в темноте никогда ничего не происходило. Я полагаю, это предельно точное описание. Я утверждаю, что девочки собираются по ночам не ради какого-нибудь щекочущего нервы банального обряда, действия, которое легко обнаружить, но единственно ради уединения и молчания. Члены общества Сестер желают стать недоступными. Они хотят спастись от наших глаз, удалиться от изучающего взгляда, – и больше всего они хотят не быть познанными. В мире, загустевшем от понимания, тягостном от объяснений, пронизательности и любви, члены безмолвного общества жаждут избежать определения, остаться таинственными и неуловимыми. Расскажите! – кричим мы, и от любви голоса наши срываются на визг. – Расскажите нам все! Тогда мы вас простим. Но девочки не хотят нам рассказывать все, они вообще не хотят, чтобы их слышали. В сущности, они хотят стать невидимками. Потому и не могут участвовать ни в каком действе, способном их обнаружить. Отсюда их молчание, их любовь к ночному одиночеству, их ритуальное торжество тьмы. Они ныряют в загадку, будто в черную дымовую завесу: чтобы исчезнуть.

Ночью

Я утверждаю, что Сестры Ночи – собрание девочек-подростков, посвятивших себя тайнам уединения и молчания. Высокая стена, запертая дверь, отвернувшееся лицо. Сестры – тайное общество, которое невозможно уничтожить, ибо даже если мы не позволим девочкам встречаться ночами и привяжем их к кроватям на всю оставшуюся жизнь, загадочные стремления общества останутся нетронутыми. Мы не можем остановить Сестер. Напуганные загадкой, подозрительные к молчанию, мы им в вину ставим мрачные преступления. Таково наше тайное утешение – ибо разве мы не узнаем об этих преступлениях позже? Мы предпочитаем молчанию колдовство, ночной недвижности – оргии наготы. Но девочки жаждут запереться в молчании, превратиться в бледные статуи с пустыми глазницами и каменной грудью. Как нам справиться с дочерьми? Еженочно тайное общество бродит по нашему городу. Слухи о нем доходят до младших девочек, до старших; нам кажется, будто и жены наши стали беспокойны

и уклончивы. Мы жаждем бросить в лицо молчаливым дочерям доводы или насилие; просыпаемся среди ночи от кошмаров, в которых истекают кровью звери. Некоторые говорят, что Сестер следует разоблачить и наказать, ибо если подобные идеи укоренятся, кто сможет их остановить? Тех же, кто советует проявить терпение, обвиняют в трусости. Уже начали поговаривать о молодежных бандах, что ночами рыскают по городу, вооруженные заточенными палками. Как нам справиться с дочерьми? Среди ночи мы пробуждаемся в тревоге, на цыпочках подходим к их дверям, замираем, протянув руку, не в силах шагнуть вперед или отступить. Мы вспоминаем долгие годы детства, выходные платица и леденцы, мерцание дрожащих мыльных пузырей в синем летнем воздухе. Мы грезим о временах получше.

ВЫХОД

Хартер предполагал, что интрижка плохо кончится, но не думал, что настолько плохо: он мрачно застегивает рубашку, лежа на краю постели, женщина чуть не плачет, распростертая в своей бледно-лиловой ночнушке, что заставляла его тосковать о женщинах тоньше, моложе и желаннее, – и тут сюрприз, который стоило предвидеть, малюсенький поворот сюжета, все превративший в фарс: внезапно распахивается дверь и порог перешагивает взбешенный муж. Ну вот, подумал Хартер, сейчас он меня убьет. Но сделав шаг, муж остановился, будто его ударили по лицу, и Хартер понял, что тот лишь теперь поднял взгляд и увидел малоприятную сцену. Хартер понял и еще кое-что: на этот раз ему сойдет с рук. Человек у двери был невысок и опрятен, почти нежен, не чета Хартеру. В темной тройке, с аккуратными усиками, над висками – завитки зачесанных назад редеющих волос. Эти открытые виски делали его странно хрупким – казалось, удар кулака раскрошит ему череп, будто ребенку, – и Хартер слегка пожалел человечка, а тот стоял, не двигаясь и не говоря ни слова. Хартер застегнулся и встал. На Марту не взглянул.

Медленно, осторожно обогнул кровать, направился к двери и, проходя совсем рядом с мужем Марты – как его зовут? Джозеф? Лоренс? – заметил, что мужчина смотрит не на него, а прямо перед собой, и весь трясется. Хартер чуть было не сказал какую-то нелепость – все кончено, это не имеет значения, она вас любит, – и тут мужчина заговорил – тихо, придушенно, так тихо, что Хартер уловил лишь злобное шипение и что-то вроде «вами утром». Хартер поспешно вышел за дверь, вниз по затянутой ковром лестнице в гостиную. Под настольной лампой на мягком кресле поблескивал небольшой черный портфель. Только на переднем крыльце до Хартера дошло, что человечек трясся от ярости.

Луна Хартера напугала. Тревожно яркая, словно белое солнце. Она расчертила высокую каменную парковую ограду через дорогу тенями деревьев, отшлифовала крыло одинокого автомобиля в квартале от дома. Темно-синее ночное небо, привкус осенней прохлады. В такие ночи влюбленные гуляют, держась за руки: каблучки дразняще стучат по тротуару, приглушенный смех,

«хшш-хшш» чулков. Дурак он был, что не порвал с нею раньше.

Нагнувшись, Хартер заглянул в машину, увидел две библиотечные книги на пассажирском сиденье и вспомнил про третью, что осталась у Марты на тумбочке. Придется ей сдавать его книгу самой. Мысль об этом поступке, который она храбро совершит, – рука чуть помедлит, кладя книгу на стойку, – наполнила его странным наслаждением, точно он был бы рад задержаться в ее жизни еще ненадолго; точно все это не столь гнетуще окончательно. Может, когда-нибудь они снова увидятся. Он шагнет к ней, рукой коснется ее плеча. Она обернется, глаза наполнятся слезами... или нет, однажды вечером, сидя в библиотеке, он поднимет голову, и напротив него... но довольно сантиментов. Это финал, все кончено. Хартер двинулся на другой конец города, где в одиночестве жил на последнем этаже дома на три семьи. Что, правда час ночи? Человечек не имел права так врываться. Но, с другой стороны, это же его комната, и он вообще-то не врывался – дверь отворилась довольно медленно. Не нужно было ему ничего знать. Хартер выскользнул бы из ее жизни – не сложнее, чем снять носок в конце дня, скинуть его чуть помятым, чуть менее пригодным для ношения – не более того. Нет, звучит уродливо. Он устал, устал – от всего устал.

И вот, в ту самую ночь, когда он, в конце концов, нащупал выход, внезапно распахивается дверь и входит маленький муж. Теперь Хартеру придется жить с воспоминанием о шипящем человечке, о его опозоренной жене, об ужасной сцене, которой не увидит. И что хуже всего: несмотря на то, что он наконец порвал с нею, несмотря на то, что его до смерти от всего этого тошнило, мысль о нежном примирении Марты с ее маленьким мужем совсем не успокаивала.

Наоборот, порождала смутную ревность, точно Хартер сам хотел бы простить заблудшую и утереть ей слезы.

Он ужасно вымотался, едва замечал, где едет, и вздрогнул, когда перед ним вдруг вырос его собственный дом. Он не выключил лампочку над кухонной раковиной – одинокое желтое окно на темной спящей улице. Человек остановился внезапно, будто его ударили по лицу. Хартер тщательно закрыл машину, отпустив ручку и толкнув дверцу бедром. Нашарил ключи, устало поднялся на третий этаж. В ту ночь ему снилось, что он играет на пианино в гостиной дома своего детства. Рядом на скамеечке сидит Марта, совсем близко, касание ее бедра наполняет его теплой дремой, но повернувшись к ней, Хартер видит, что маленький муж навалился прямо ей на спину и белым кулачком выкручивает ей ухо.

В свой тридцатник Хартер был крупным мягким человеком с широкими округлыми плечами и мальчишеским лицом. Носил главным образом одноцветные рубашки с завернутыми манжетами, мягкие застиранные джинсы «Рэнглер», старые мокасины надевал на толстые носки. Он преподавал историю – древнюю, новую и американскую – в местном колледже на задворках дурного района, и играл в ленивый добродушный теннис.

Хартеру доставалось немало женщин, но ни одна его не удовлетворяла. Причем не удовлетворяла однообразно: в конечном итоге недостаточно его волновала, не доводила до предельного неистовства, которого он жаждал. Порой он думал, что модель его эротической жизни сформировалась еще в седьмом классе, когда он много месяцев подряд отчаянно добивался девочки по имени Лоис Бишоп. Поначалу она жестоко его игнорировала, но его настойчивость, его преданность – возможно, даже его страдания – постепенно произвели впечатление, и однажды она позволила проводить ее домой. И во время этой прогулки, посреди восторга столь сильного, что у него болели все мышцы, он стал замечать в Лоис Бишоп определенные недостатки, не замеченные ранее, когда она пребывала в царстве абсолютно недоступного. То, как у нее двигается кончик носа, когда она говорит, некоторая тяжесть подбородка, тревожная костлявость запястий и длинных больших пальцев. Он ей, видимо, понравился, но больше не предлагал провожать ее домой, а проходя мимо в школьных коридорах, становился холодным и надменным.

То же разочарование вернулось к нему в старших классах: скользя ладонью вверх по чулкам Бернис Коулмен у нее в гостиной полдвенадцатого ночи, он вдруг представил себе прекрасные, мерцающие, невыносимо желанные ноги Шэрон Крупки, которая сидела напротив за кленовой партой на «проблемах американской демократии» и имела привычку все время закладывать одну ногу за другую – медленно, безостановочно, мучительно. На втором курсе колледжа он познакомился с застенчивой и довольно симпатичной девушкой – она носила очки, отличалась самоуничижительным чувством юмора и как-то днем удивила его, затащив в постель, – при том, что он всю дорогу был способен думать лишь о ее соседке, нахальной блондинке, которая носила черные колготки и кожаные мини-юбки, верила в астрологию и сайентологию и обычно сидела в креслах, беззаботно перекинув ноги через подлокотник. Горсть его зрелых романов вновь проигрывала ту же тему разочарования. Худенькая тихая женщина, с которой он познакомился на вечеринке: она была так рада найти собеседника, а укрепила знакомство целым потоком горьких обид на мать, на босса, на ужасных мужчин и, наконец, на самого Хартера. Тяжеловатая преподавательница психологии: злоупотребляла духами и требовала непрерывных изматывающих душу уверений в собственной привлекательности. Сравнительно хорошенькая художница, с которой Хартер познакомился еще на какой-то вечеринке: громогласно хохотала, откидывая голову, но в постели погружалась в молчание и меланхолию, точно запиралась в некую тайную печаль. Были и другие – поначалу все казались многообещающими, но вскоре в них обнаруживался какой-нибудь существенный недостаток. И всегда за спиной или над головой одной витала другая, до смерти желанная, которую он хотел, но обладать которой не мог, – она мелькала в автобусе, на пляже или на глянцево-плакате с рекламой

ликера. Женщины, что затопляли его воображение, отправлялись за ним в постель и там издевались над заурядными реальными женщинами, уже не удовлетворявшими его, как раньше.

Хартер чувствовал, что ему следовало бы переспать с легионами женщин, и нервничал из-за собственной застенчивости, которую, видимо, не мог преодолеть, но в то же время прекрасно сознавал, что женщинам нравится. Он – сочувствующий слушатель, и это его сочувствие рано или поздно приводит к физической близости. Порой он задавался вопросом, специально ли выискивает несчастных женщин, чтобы добиться их расположения без особых усилий – а вскоре их довольно очевидные дефекты оказывались роковыми. В мрачном расположении духа он спрашивал себя, не проклят ли романтическим темпераментом. Ему нравилось представлять себя романтиком – особенно в беседах с женщинами. Таким образом он давал им понять, что перед ними таинственный человек, полный увлечений и страстей, но на самом деле имел в виду одно: ничто – и женщина в особенности – неспособно надолго принести ему удовлетворение. Зачем мы рождены? Куда идем? Время от времени, когда тяжело текли часы, Хартеру нравилось задавать себе подобные вопросы; по этой причине он любил называть себя философом.

Он познакомился с Мартой в читальном зале городской библиотеки, где несколько вечеров в неделю листал журналы и разглядывал старшеклассниц, пытаясь вычислить, кто из них через пару лет окажется у него в классе. Его возбуждали тела девочек-подростков, но чрезмерная стеснительность ни разу не позволила что-нибудь с ними закрутить. А смотреть не запрещено. Ему нравилось выбирать особенно грациозных и изящных девочек со светлыми шелковистыми волосами, в белых блузках и юбках до колен. Грубоватые рабочие девушки ему нравились тоже – румяна во всю щеку, блестящие черные кожаные куртки, ярко-красные ногти и джинсы такие узкие, что их, наверное, больно носить.

Однажды в дождливый вечер, незадолго до закрытия, он сдал книгу и с зонтом вышел из центрального зала в маленький вестибюль за огромными стеклянными дверями. Там стояла женщина в темно-синем плаще. В руках она держала две книги и беспокойно глядела в залитое водой стекло. Он уже пару раз ее видел – она читала журнал или искала книгу. И теперь Хартер как-то пошутил насчет дождя и узнал, что женщина припарковалась в двух кварталах от библиотеки. Сначала она отказалась, а затем согласилась воспользоваться его зонтом, и он бережно довел ее до машины, прикусив собственное раздражение, когда провалился в лужу по щиколотку, и раздумывая о том, как это на него похоже: не две девчонки, которые сегодня среди стеллажей в секции «Искусство» хихикали над громадным томом, а эта пухленькая дамочка с обручальным кольцом. Она горячо благодарила. Через неделю они снова встретились в библиотеке – на этот раз она улыбнулась и поблагодарила снова. Еще через два дня они разговорились. Она любит читать; муж много разъезжает; она все время забывает всякие мелочи вроде зонтиков. В следующий раз они заговорили легко, точно старые друзья, и однажды вечером она пригласила его к себе на чашку чая.

Поначалу роман его возбуждал: его первая замужняя женщина, – и он был благодарен за то, как она любит его, балует его, слушает серьезно и внимательно. Иногда, глядя на него, она по несколько минут забывала моргать огромными добрыми глазами. Может, из-за полноты ее капитуляции ему и стало неудобно: вскоре удовольствие рассеялось, а через месяц он понял, что совершил ошибку. Адюльтеры не для него; в свои сорок три она для него слишком стара; мягкость и обильность ее плоти смущают. Он принялся искать способ порвать – аккуратно, так, чтобы она не почувствовала себя виноватой. Напоминал себе, что как бы ни было ей больно сейчас, дальше будет больнее. Он был уверен, что найдет нужные слова. Так было бы лучше для всех.

Хартер проснулся от тихого упорного стука в дверь. Так мог стучать человек, понимающий, что еще очень рано, – семи нет, – и желающий извиниться за беспокойство, настаивая

однако, что побеспокоить придется. Хартер накинул старый халат и пригладил волосы. Спал он неважно.

Открыв кухонную дверь, он с удивлением воззрился на двух мужчин в форменных шинелях и с фуражками в руках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.